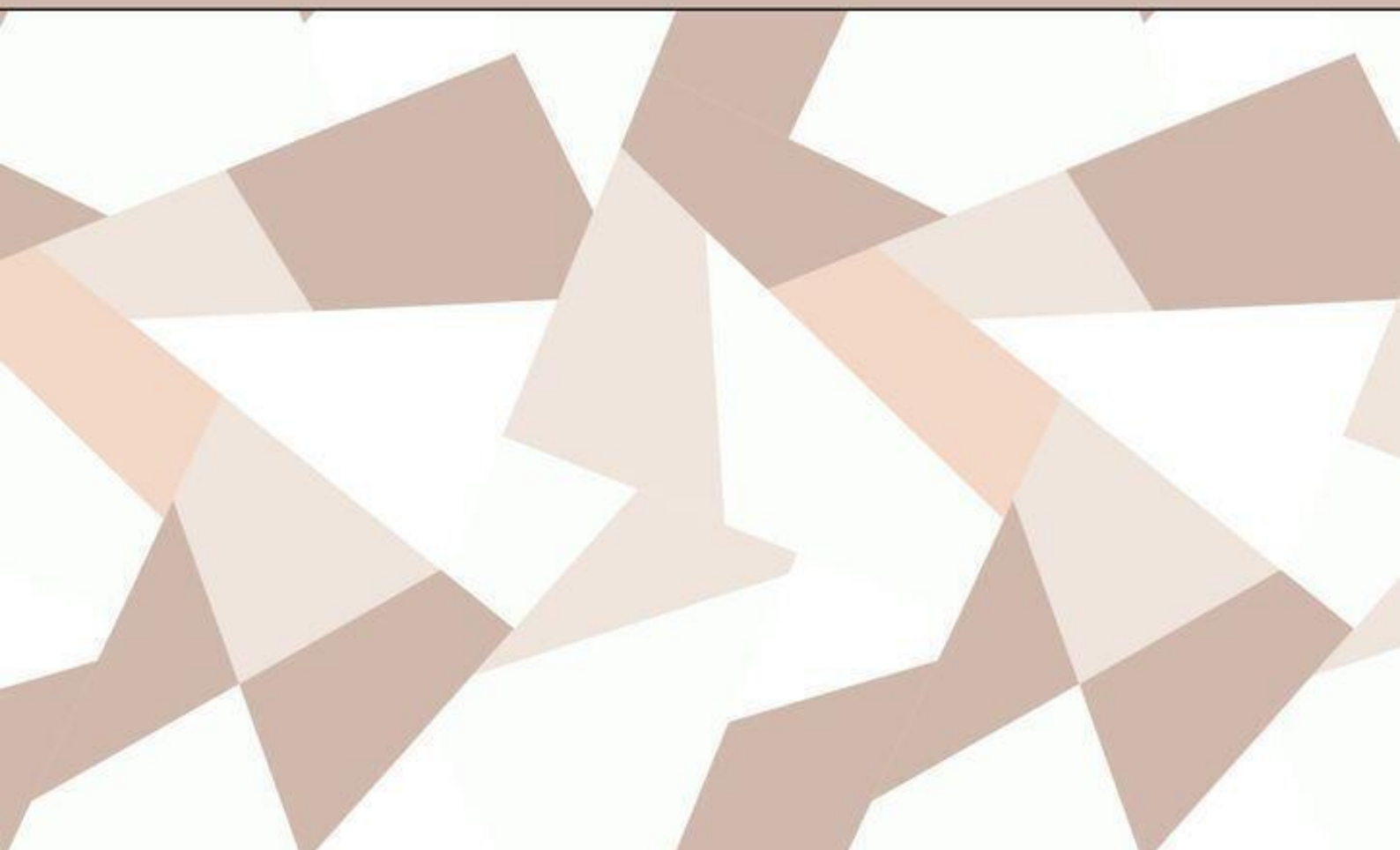


18+ Дмитрий Шляхтин

Тихая комната

Роман о бесконтактном насилии



Дмитрий Шляхтин

**Тихая комната. Роман
о бесконтактном насилии**

«Издательские решения»

Шляхтин Д.

Тихая комната. Роман о бесконтактном насилии / Д. Шляхтин —
«Издательские решения»,

Это художественное произведение. Все персонажи, организации и события вымышлены. Любое сходство с реальными людьми, организациями или событиями случайно. Рассказчица романа сознательно ненадёжна: её подозрения, догадки и страхи — часть её внутренней жизни, а не утверждения автора и не установленные факты.

© Шляхтин Д.

© Издательские решения

Содержание

ТИХАЯ КОМНАТА	6
Содержание	7
Глава 4. Канат	8
Акт III. Развод. Суд	9
Глава 20. Зыкова	10
Акт V. Обращения. Открытый финал	11
Акт I. Долгая предыстория	12
Глава 1. Однушка на шестом этаже	13
Глава 2. Жёлтый лист диагноза	17
Глава 3. Буква «ш»	20
Глава 4. Канат	24
Глава 5. Ирек	27
Глава 6. Гормон	31
Глава 7. Никах без меня	34
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Тихая комната

Роман о бесконтактном насилии

Дмитрий Шляхтин

© Дмитрий Шляхтин, 2026

ISBN 978-5-0071-0736-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ТИХАЯ КОМНАТА

роман

Это художественное произведение. Все персонажи, организации и события вымышлены. Любое сходство с реальными людьми, организациями или событиями случайно. Рассказчица романа сознательно ненадёжна: её подозрения, догадки и страхи — часть её внутренней жизни, а не утверждения автора и не установленные факты.

Содержание

Акт I. Долгая предыстория

Глава 1. Одноушка на шестом этаже Глава 2. Жёлтый лист диагноза Глава 3. Буква «ш»

Глава 4. Канат
Глава 5. Ирек
Глава 6. Гормон

Глава 7. Никах без меня Глава 8. Министр и я Глава 9. Ультиматум

Акт II. Брак

Глава 10. ЗАГС без гостей

Глава 11. Камеры в пустой квартире Глава 12. Ипотека на моё имя

Глава 13. Две четыреста Глава 14. Свекровь на три дня Глава 15. Восьмое марта Глава

16. Снова дома

Глава 17. Море

Глава 18. Тася

Глава 19. Отдельная квартира

Акт III. Развод. Суд

Глава 20. Зыкова

Глава 21. Восемьдесят тысяч Глава 22. Доверенность Глава 23. Слишком поздно

Глава 24. Пустой стул ответчика

Глава 25. Бумага, которая не защищает

Акт IV. Ночь

Глава 26. Подписка о ненадежде Глава 27. Парк

Глава 28. Две недели Глава 29. Замки

Глава 30. Красное море Глава 31. Лабиринт Глава 32. Дверь изнутри Глава 33. Конюшня

Глава 34. Аэропорт Глава 35. Белая рубашка Глава 36. Стул

Глава 37. Минута

Акт V. Обращения. Открытый финал

Глава 38. Спасибо

Глава 39. Жалоба

Глава 40. Наверх

Глава 41. Депутату Глава 42. Тихая комната

Акт I. Долгая предыстория

Глава 1. Однушка на шестом этаже

*Родители — лучшие друзья.
— формула моей матери*

Я ношу эту формулу в себе как внутренний закон — как гравитацию: её не проверяют, в ней не сомневаются, про неё просто знают, что она держит. Я не помню, когда услышала её впервые. Кажется, до слов. Кажется, она была раньше слов — как запах спирта, который я тоже не помню впервые, но который уже был, когда я научилась дышать.

Мне семь, и я стою у окна на шестом этаже. Окно выходит на нефтяную провинцию. Я считаю вышки — чёрные точки на сером горизонте, как точки в конце предложений, которые никто не договаривает. Мама протирает подоконник дважды в день: утром и после обеда. Пыль здесь особенная — она не столько ложится, сколько вырастает; к утру на подоконнике уже тонкий слой, как иней, только тёплый, только серый. Мама говорит, это от нефти. Говорит, весь наш город дышит нефтью, и пыль — это его выдох. Я не понимаю, но запоминаю. Позже я буду думать, что мама говорила о себе: что вся наша однушка дышит тем, чего она не может высказать, и пыль — это её выдох.

Запах в однушке — спирт и пыль. Ещё табак, но табак приходит и уходит, а спирт и пыль остаются. Они в обоях, в швах дивана, в маминой косе, которую она заплетает каждое утро и расплетает каждый вечер. Они в моих волосах. Я сплю — и они спят во мне. Когда я вырасту и перееду в город, где не

будет ни спирта, ни пыли, я всё равно буду чувствовать этот запах — не носом, а кожей, как шрам, который ноет к дождю.

Но это потом. А сейчас мне семь, и я учусь различать шаги.

Мамины шаги — лёгкие, быстрые, ровные. Она ходит так, будто каждый шаг — это слово, которое она обязана сказать. Шаг, шаг, шаг. Точка, точка, точка. Она не молчит ногами. Когда мама идёт по коридору, я знаю: мир в порядке.

Отцовы шаги — тяжёлые, неровные, с задержкой на марше. Между третьим и четвёртым этажом он останавливается. Иногда между пятым и шестым. Задержка — это не усталость. Задержка

— это решение. Он решает, входить ли. Он всегда входит. Но в эту минуту, пока он стоит между этажами, я перестаю дышать. Не по команде. Не потому что мама сказала. Просто перестаю. Как будто, если я не дышу, меня нет; а если меня нет, то ничего не случится.

Это умение — не дышать — первая система защиты, которую я выстраиваю в жизни. Мне семь. Я ещё не знаю, что через двадцать с лишним лет буду выстраивать системы защиты за деньги, что научусь закрывать чужие данные от чужих рук и буду думать, что разбираюсь в том, как уберечь то, что дорого. Тогда я делаю это телом. Потом буду делать головой. Разницы почти нет.

Мама повторяет: «Родители — лучшие друзья». За завтраком. Перед сном. Когда папа уходит на работу. Когда папа возвращается. Когда я спрашиваю, почему у других детей папы играют с ними во дворе, а мой — нет. Когда я спрашиваю, почему мама плачет в ванной, думая, что я не слышу.

«Доченька, мы с папой — лучшие друзья. Запомни».

Я запоминаю. Я вообще всё запоминаю — это мой дар и моя болезнь. Я запоминаю интонацию, с которой она это говорит: не радостно, не гордо, а как заклинание, как формулу, которую нужно произнести, чтобы что-то не рассыпалось. Слова здесь не зеркало. Слова здесь — цемент. Если мама перестанет говорить

«лучшие друзья», они перестанут быть друзьями. Я понимаю это раньше, чем умею называть. Понимаю телом, тем местом под рёбрами, которое сжимается, когда формула звучит слишком часто.

Я пишу это в тридцать три и впервые не уверена, что имею право. Может быть, мама не лгала. Может быть, она просто любила неловко, как умела, как научили её, и повторяла

«лучшие друзья» не чтобы удержать ложь, а чтобы поверить самой. Я не знаю. Я ни в чём из этого не уверена — мне достаточно раз сказали, что я вижу то, чего нет, чтобы я разучилась доверять собственным глазам. Поэтому я честно говорю: всё, что я здесь вспоминаю, — это я. Не правда. Я.

И всё же я думаю — и не могу не думать, — что формула

«родители — лучшие друзья» была попыткой. Мама пыталась сделать её правдой, повторяя. Повторение — её форма любви. И её форма контроля. Граница между ними проходит ровно там, где я перестаю дышать.

Поздний вечер. Я в кровати. Мама на кухне. Лестница. Шаги. Тяжёлые. Неровные. Задержка на марше.

Я перестаю дышать.

Дверь открывается. Пахнет спиртом, табаком и зимой — даже если лето, всегда зимой, потому что папа приносит с собой холод, не имеющий отношения к погоде. Мама встречает его на кухне. Я слышу через стену — не слова, интонации. Мамины интонации убаюкивающие. Она говорит с ним так, как говорила бы с ребёнком, который упал и плачет: «Ну всё. Всё. Тише. Тише». Папины интонации — глухое бормотание, как радио на неисправной частоте.

Я лежу и слушаю. И понимаю — не словами, а телом — одну вещь, которая потом определит всё.

Мама — лучший друг не мне. Мама — лучший друг папе.

Я — третий человек в однушке, в которой помещаются только двое. Третий — это не лишний. Третий — это свидетель. Свидетелей не прогоняют: без свидетеля не подтвердишь, что что-то было. Маме я нужна, чтобы подтвердить, что её брак существует. Что формула работает. Что «лучшие друзья» — правда, а не заклинание. Я — её алиби. Это моя первая роль в жизни. Потом ролей будет много, и все они окажутся одной и той же: я нужна, чтобы кто-то другой мог не быть один.

Я не дышу. Я жду. Я подтверждаю.

Бабушка Танзиля — мамина свекровь, папина мать — живёт в трёх остановках от нас. Я не люблю к ней ходить. В её квартире пахнет не спиртом — нафталином и старыми газетами. Бабушка Танзиля не одобряет маму. Она считает, что папа, младший сын, обязан заботиться о матери. Что однушка — это мало. Что нужна двушка. Но двушка рядом с бабушкой, а не где-то. Что дочь — это не сын: я вырасту, уйду в чужую семью, а квартира должна остаться. Что оформлять на меня рискованно. Что на маму — тоже рискованно. Что оформить надо на бабушку.

Мама спорит. Папа молчит. Бабушка настаивает. Дед Абдулламир — папин отец, всю жизнь на нефтяном промысле, получил за выслугу трёшку — молчит ещё громче папы. Его молчание — это его голос. Когда дед молчит, все слушают.

В итоге однушку продают. Покупают двушку. Рядом с бабушкой. Оформляют на меня и на маму. Мне в это время шесть, и я впервые узнаю, что у меня есть доля в квартире. Это не радость. Это первая форма любви-обязательства, которую я получаю от семьи.

«Смотри, доченька, — говорит мама. — Это твоя доля. Твоя.

Понимаешь?»

Я понимаю. Понимаю, что «твоя» — это не «тебе». Это «на тебя оформлено». Что доля — не подарок, а узда. Что я теперь должна, потому что на меня оформили. Что любовь в нашей

семье измеряется квадратными метрами, и каждый метр — обязательство, которое я ещё не умею называть, но которое уже

лежит на мне, как влажное одеяло.

Я вырасту. Я буду оформлять на себя ипотеку, потому что у мужа уже использован вычет. Буду оформлять на себя машину, на которую потом подадут иск. Буду оформлять долю ребёнка за счёт материнского капитала. И каждый раз буду думать, что оформляю на себя, — а на самом деле буду брать на себя обязательство, которого не вижу. Это началось в шесть. С двушки рядом с бабушкой. С маминого «твоя».

Девяносто восьмой год. Папе за сорок, мне пять. Папа уезжает в долгую командировку — далеко, за границу, инженером; нефть отправляет своих туда, где нефть. Это надолго. Это деньги.

Первые дни после его отъезда — облегчение. Я не знала, что мне тяжело, пока не стало легко. Не нужно различать шаги. Не нужно не дышать. Не нужно ждать задержки на марше. Мама ходит по квартире — лёгкие, быстрые, ровные шаги, — и мир звучит как метроном, ровно.

Через неделю облегчение превращается в вину.

Если мне легче без отца — значит, я плохая дочь. Если я плохая дочь — значит, я не лучший друг матери. Если я не лучший друг — значит, я не нужна. Если я не нужна — значит, меня нет. А если меня нет — зачем я дышу.

Это первая в моей жизни цепочка. Я не произношу её словами, я ещё не умею. Но я проживаю её телом: мне пять, я

лежу в кровати и снова не дышу — теперь не от страха, а от вины. Я научилась не дышать от одного, и то же умение включается от другого. Рефлекс не различает причин. Он просто срабатывает.

Таких цепочек потом будет много, и все они будут заканчиваться одинаково: я виновата. Виновата, что мне плохо. Виновата, что мне хорошо. Виновата, что я есть. Виновата, что меня нет. Цепочка начинается здесь — в пять лет, в однушке, с облегчения, которое стало виной.

Командировка кончится. Папа вернётся. Снова с холодом на плечах. Но теперь мы в двушке.

Двушка — это две комнаты: мамина и моя. Кажется, стало легче. Не становится.

Мама заходит ко мне каждый вечер. Проверить, укрыта ли. Спросить, как день. Посидеть на кровати. «Лучшие друзья», — повторяет она. В восемь лет я уже понимаю: «лучшие друзья» — это когда заходят каждый вечер и не уходят, даже если просишь.

Я не прошу. Я не умею просить. Я умею только не дышать. Но не дышать, когда мама рядом, бесполезно — она видит. Она видит всё. Она знает, когда я не дышу, и говорит: «Доченька, дыши. Что с тобой?» Я вдыхаю. Она улыбается: «Вот так. Вот так. Лучшие друзья».

Это первая форма удушающей близости, которую я до двадцати лет буду называть любовью. До двадцати я буду

думать, что любовь — это когда заходят каждый вечер и не уходят. Что любовь — это когда знают, что ты не дышишь, и заставляют дышать. Что любовь — это когда оформляют на тебя долю и говорят «твоя».

Потом я начну переименовывать. Долго, всю жизнь. Я назову это контролем. Назову созависимостью. Назову слиянием, в котором матери нужна дочь не как дочь, а как наперсница, как свидетель, как тот, кем затыкают пустое место рядом. Найдутся слова и точнее, и страшнее, и в одном из них будет слово, которое я не стану здесь писать, потому что оно не про тело, а про душу, а люди слышат только про тело. В восемь у меня нет ни одного из этих слов. У меня есть только формула —

«родители — лучшие друзья» — и умение не дышать. Мама была первой, кто научил меня этому. Она не знала, что учит. Она просто повторяла. А я впитывала.

Я стою у окна в новой двушке. Мне семь. За окном — тот же город. Те же нефтяные вышки. Тот же горизонт.

Стены сменились. Воздух — нет. В нём всё ещё спирт и пыль, только теперь ещё и краска свежих обоев — резкий химический запах, который мама называет «новым домом». Я стою, вдыхаю эту химию поверх старого спирта и думаю — не словами, а тем, что под словами, — первую взрослую мысль своей жизни.

Менять стены — не значит менять жизнь.

Мне семь. Я не знаю, что запомню эту мысль навсегда. Что через много лет буду стоять у другого окна, в чужом съёмном

жилье, с шестилетней дочерью на руках, и думать ровно это: менять стены — не значит менять жизнь. Что мне наконец понадобится сменить не стены, а воздух. И что я не буду знать, как это делают.

Но это всё потом. А сейчас мне семь. Я стою у окна. И я слышу шаги на лестнице.

Тяжёлые. Неровные. С задержкой на марше. Я перестаю дышать.

Глава 2. Жёлтый лист диагноза

У тебя ничего нет. Забудь.

— формула моего отца

Кабинет педиатра пахнет карболкой и страхом. Не моим страхом — чужим, накопленным: сотни детей прошли здесь до меня, и каждый оставил каплю своего страха на стуле, на клеёнке, на листе, который врач вынимает из принтера. Страх впитался в стены, как запах спирта в обои однушки. Стены здесь белые, но если приглядеться — желтоватые. Всё в этом кабинете желтоватое: свет, клеёнка, лицо врача, лист, который она кладёт перед мамой.

Мне семь. Я сижу на стуле, болтаю ногами. Мама рядом. Врач

— женщина в очках, она держит ручку тонкими пальцами, как скальпель. Она говорит:

— Гепатит С.

Я не знаю, что это. Я слышу звук — «гепатит» — и он кажется мне похожим на «гиппопотам». Большое толстое животное, которое живёт в реке и не вылезает. Я почти улыбаюсь. Но мама рядом перестаёт дышать. И я по привычке тоже перестаю.

— Лечение необходимо, — говорит врач. — Можно начать сейчас.

Мама берёт жёлтый лист. Лист тонкий, как крыло мотылька; как документ, которого не должно быть, но он есть. На нём написано «гепатит С» и ещё что-то — я не читаю, я не умею читать такие слова. Но я вижу, что мама читает, и бледнеет, и складывает лист пополам, потом ещё раз пополам, и прячет в сумку. Лист исчезает. Но я уже знаю, что он есть.

В коридоре пахнет сильнее — карболка, табак от курящих у окна матерей, детский плач из соседнего кабинета. Я иду и думаю: у меня внутри поселилось что-то большое и толстое, как гиппопотам, и мама его боится. Я не боюсь. Я ещё не умею бояться того, что внутри. Я ещё не знаю, что самое страшное всегда внутри.

Цена — миллион рублей.

Миллион — слово, которое я слышу впервые в жизни. Я знаю сто. Знаю тысячу. Миллион — это как «никогда», только про деньги. Мама произносит его на кухне, вечером, когда я уже в кровати и притворяюсь, что сплю. Я не сплю. Я слушаю.

— Миллион, — говорит мама. — Где возьмём?

Папа молчит. Его молчание — его голос, я уже это знаю. Когда папа молчит, он решает. Когда он решает, всё остаётся как есть.

— У отца трёшка, — говорит мама. — У нас двушка.

Машина. Сбережения.

Папа молчит.

— Может, продать машину? Папа молчит.

— Может, занять у брата? Папа молчит.

Через неделю мама говорит мне, без предисловия, за завтраком:

— Мы подождём. Поживём — увидим.

Я не понимаю, чего мы подождём и что увидим. Я ем кашу и киваю. Мне семь. Я ещё не знаю, что «поживём — увидим» — это формула, которая значит «нет». Что «подождём» — форма отказа, в которой никто не отказывается, но никто и не соглашается. Что в нашей семье так решают все: не лечат, не уходят, не разводятся, не подают, не возвращают — «поживём — увидим».

Деньги в семье есть. Дедова трёшка. Наша двушка, оформленная на меня и маму. Папина зарплата, мамина. Две машины. Сбережения, о которых я узнаю позже. Миллион есть. Миллион не находится.

Это первый расчёт, в котором я понимаю — не словами, а тем, что под словами — что моё тело стоит меньше, чем доля в квартире. Что любовь измеряют не лечением, а оформлением. Что на меня оформляют, но меня не лечат. Что я нужна, чтобы подтвердить, что у семьи есть квартира, но не настолько, чтобы семья продала машину ради моей печени. В этой мысли нет обиды — я ещё не умею обижаться на мать. В ней что-то другое, чему я потом найду имя: расчёт. Любовь в нашей семье — это расчёт с прилагательным «любовь».

Решение не лечить принимают без меня.

Это нормально — мне семь, дети не решают. Но я замечаю: меня не спрашивают. Не сажают за стол, не говорят: «Доченька, у тебя болезнь, мы подумали и решили вот что». Меня просто ставят перед фактом: «Мы подождём». Как будто я получатель решения, а не его предмет. Как будто болезнь — мамина, а не моя, и лечат или не лечат маму, а я при этом свидетель.

Я уже была свидетелем — в однушке, через стену, когда мама убаюкивала папу. Тогда я свидетель их брака. Теперь — их решения обо мне. Это моя вторая роль в жизни: быть свидетелем решений, которые меня касаются, но принимаются без меня. Потом надо мной так будут решать многие — и я буду стоять рядом, как сейчас, и кивать, и есть кашу.

Это первое предательство через недеяние. Не удар, не крик, не отказ. «Подождём». Решение принимают двое, а жить с ним

— мне, одной, в теле, которое не лечат.

Болезнь поселяется во мне как жилец.

Я её не чувствую. Она не болит. Она не мешает ходить в школу, есть кашу, отличать мамины шаги от отцовых, переставать дышать. Она просто есть — где-то в печени, где-то в крови, где-то, чего я не вижу и не трогаю. Она живёт во мне, как жилец, о котором хозяева знают, но которого не выписывают.

Я расту. Болезнь растёт со мной. Жёлтый лист переезжает из маминой сумки в ящик комода, потом в папину коробку из-под обуви, куда он складывает «важные бумаги». Я знаю, что он там. Иногда, когда никого нет дома, я открываю коробку, достаю лист, разворачиваю, смотрю на слово «гепатит». Слово не меняется. Меняюсь я.

Так тело становится первой тихой комнатой. Не палата — это будет потом. Не съёмное жильё, не кабинет следователя — всё потом. Первая тихая комната — моё тело, в котором живёт болезнь, о которой молчат. Болезнь — это крик, который никто не слышит, потому что он звучит внутри. Мой первый тихий крик. Из него потом прорастут все остальные комнаты; но он — первый.

Через несколько лет папа начинает отрицать.

Мне одиннадцать. Я стою на кухне. Я только что прочитала в школьном учебнике биологии про гепатит С — и подошла к папе: «Пап, а у меня правда гепатит?» Он смотрит на меня так, как смотрит всю жизнь, — мимо, сквозь, как на стекло, за которым видно окно. И говорит: — У тебя ничего нет. Забудь.

Это первая фраза-отрицание, которую я слышу в жизни. Я впитываю её, как впитала «родители — лучшие друзья». Впитываю интонацию — не злую, не добрую, а усталую, словно он устал отрицать ещё до того, как начал. Впитываю формат: «У тебя нет этого. Забудь». Потом этот формат вернётся не раз, из

разных уст, про вещи покрупнее печени. «У тебя ничего нет. Забудь» значит: реальность — это то, что мы решаем, а не то, что есть. Болезнь — не болезнь, пока мы не назвали её болезнью. Я — не я, пока они не решили, кто я. Я не знаю слова

«газлайтинг». Я знаю только, что мне одиннадцать, что у меня тянет справа под рёбрами, и что папа сказал, что у меня ничего нет.

И я забываю. Не болезнь — болезнь остаётся. Я забываю, что она у меня есть. Забываю так хорошо, что годы спустя, когда врачи прервут мою первую беременность из-за риска для печени, я удивлюсь — искренне, как будто не знала. Я не знала. Я забыла. Мне сказали забыть, и я забыла. Это моё третье умение: забывать то, что велит забыть. Перестать дышать, забыть, подтвердить. Все три начинаются здесь.

Я пишу это в тридцать три и слышу, как оно звучит со стороны: чудовища, не продавшие машину ради печени собственной дочери. Может быть, всё было проще. Может быть, миллиона и правда не было — была дедова трёшка, которую нельзя тронуть, потому что в ней дед; была наша двушка, в которой мы; был страх и тихая провинциальная вера, что само рассосётся, не надо тревожить, не надо тратить, поживём — увидим. Может быть, я несправедлива к ним даже сейчас. Я не знаю. Я давно не доверяю себе в таких вещах. Я знаю одно, и только это: меня не лечили, и я научилась об этом не помнить.

Этот жёлтый лист — первый в моей жизни документ о ненадёжности.

Документ, в котором написано, что со мной что-то не так, и который семья решает не замечать. Документ, который существует, но не действует. У которого есть печать, но нет силы. Который можно сложить пополам, потом ещё раз пополам, спрятать в коробку из-под обуви и делать вид, что его нет.

У меня их будет много.

Красный диплом — листы, которые мать удержит у себя, когда я уйду от мужа. Второй красный диплом — то же. Мой загранпаспорт — у матери. Загранпаспорт дочери — у матери. Свидетельство о рождении дочери — у меня, но в другом городе её зарегистрируют как-то без него, словно документа нет, хотя он есть. Решение суда о том, что ребёнок живёт со мной, — у меня на руках, но бывший муж его не исполняет, приставы не исполняют, полиция говорит «семейное дело», и документ существует, но не действует. Постановление, которым с меня снимут подозрение, — у меня на руках, но дело могут возбудить снова, и документ существует, но не гарантирует.

Все они вырастут из этого первого жёлтого листа. Из гепатита, который есть, но которого нет. Из решения не лечить, принятого без меня. Из формулы «у тебя ничего нет, забудь», впитанной, как обои впитывают спирт. Я вырасту с ощущением, что бумаги — это формы, а не силы; что написанное никогда не равно тому, что есть; что мир устроен так: есть то, что есть, и есть то, что решено, что есть, — и это разные вещи. И я живу в зазоре между ними. В тихой комнате, где болезнь спит и ждёт.

Я стою у окна в двушке. Мне одиннадцать. За окном тот же город, те же вышки, тот же горизонт.

Стены не сменились. Воздух не сменился. Только теперь я знаю, что воздух — не главное. Что главное — то, что внутри. Что можно сменить стены, город, мужа, защитника, инстанцию — и всё равно носить в себе то, что не лечат. Что тихая комната — это не место. Это состояние тела, в котором поселился жилец, о котором молчат.

В семь я поняла, что менять стены — не значит менять жизнь. В одиннадцать понимаю продолжение: лечить стены — не значит лечить то, что внутри. Я не знаю, что эта мысль ещё догонит меня телом — прерванной беременностью, дочкой в реанимации, недель, когда скорая будет приезжать каждый день. Всё это уже здесь — в жёлтом листе, в коробке из-под обуви, в теле семилетней девочки, в которое поселили жильца и о котором решили молчать.

Он спит. Он ждёт. Я не лечу. Я не забываю. Я просто не дышу.

Глава 3. Буква «ш»

Прочитай, когда будешь готова.

— *Венера Гаязовна, учительница татарского*

Буква «ш» застревает в горле.

Мне семь. Школьный класс. Запах мела, пыльных парт, варёной капусты из столовой внизу. Свет желтоватый — тот же желтоватый, что в кабинете педиатра, только здесь он не пугает, а усыпляет. Я сижу за третьей партой в среднем ряду. Учительница русского — не Венера Гаязовна, другая, я не помню её имени, помню только губы, выкрашенные коричневой помадой, — говорит:

— Читай.

Я читаю. Текст из букваря, что-то про Машу и медведя.

«Маша пошла в лес». Я дохожу до «пошла» и застреваю.

«По-ш-ш-ш...»

Буква «ш» — это не звук. Это тело, которое отказывается. Гортань сжимается, язык прилипает к нёбу, воздух идёт, а звука нет. Я чувствую, как «ш» растёт, раздувается, заполняет всё горло — как жилец, о котором я уже знаю с семи лет, с жёлтого листа. Только тот жилец чужой, а этот — мой.

— Ну же, — говорит учительница. — «Пошла». Скажи «пошла».

Я заставляю. И из меня выходит:

— По-ш-ш-ш...

И тогда — смех. Не сразу. Сначала шёпот. Потом хихиканье с задней парты. Потом весь класс. Не издевательски — инстинктивно, как смеются над тем, чего не понимают. Смех — первая реакция стада на чужое: не зло, а рефлекс. Я не обижаюсь. Я наблюдаю — за смехом, как наблюдала за отцовыми шагами. Смех тоже тяжёлый, неровный, с задержкой: сначала задержка, потом волна, потом тишина.

— Садись, — говорит учительница. — Посиди.

Я сажусь. Класс забывает — у детей короткая память на чужое. У меня длинная. Я запоминаю этот момент навсегда. Не как унижение — как открытие. Я открываю, что у меня есть тело, которое не слушается. Что голос — это не я, а что-то, чего я не контролирую. Что можно знать слово и не мочь его произнести. Что между знанием и произнесением — пропасть, и в ней живёт «ш».

Я замыкаюсь.

Это не решение, это рефлекс — как переставать дышать, когда слышу отцовы шаги. Только теперь я перестаю дышать не от страха, а от стыда. Страх и стыд пахнут одинаково: потом, спиртом (даже если спирта нет — мне кажется, что есть), кислым молоком. Замкнуться — значит перестать поднимать руку, перестать отвечать, перестать читать вслух, говорить только шёпотом на ухо подруге. У меня есть подруга, Лена, мы сидим за одной партой. Лена не заикается. Лена говорит за нас

обеих: я ей шепчу, она повторяет вслух. Это моя первая форма передачи голоса. Потом я ещё не раз доверю свой голос другим

— тем, кто будет говорить за меня, потому что я буду не мочь.

Молчание — не отсутствие голоса. Молчание — присутствие тишины, а тишина не пустота: тишина — это наполненность тем, что не сказано. В семь лет я уже это чувствую: моя тишина тяжелее чужих слов, моя тишина занимает место. Если я молчу на уроке, учительница чувствует, что я тут. Если молчу дома, мама чувствует, что я тут. Тишина — способ быть, не будучи. Не дышать, не говорить, не быть — три умения; два я уже знаю, учусь третьему. Молчание становится второй системой защиты. Первая — не дышать. Третья будет потом, через много лет: писать. Но писать — это уже не защита. Писать — это наступление: когда молчание становится слишком тяжёлым и ты выплёскиваешь его на бумагу, как воду из переполненной ванны.

— Доченька, что с тобой? — спрашивает мама. — Ты ничего не говоришь.

Я молчу.

— *Дыши. Что с тобой?*

Я вдыхаю. Она улыбается: «Вот так. Вот так. Лучшие друзья».

Она не понимает, что я молчу не потому, что не могу говорить. Я молчу, потому что могу молчать. Это разное. Не мочь говорить — поражение. Мочь молчать — выбор. В семь я ещё не различаю эти два. В тридцать три — буду. А пока я просто замыкаюсь, и всё.

Венера Гаязовна — учительница татарского. Приходит к нам по вторникам и четвергам. Невысокая, в очках, тихий голос. Не красит губы коричневой помадой. Вообще не красит. Пахнет не духами, а простым детским мылом — будто моет руки десять раз в день. Потом я пойму: она и правда моет руки десять раз в день, потому что учит маленьких детей, у которых вечно сопلي, и моет, чтобы не заразиться. А пока я просто знаю, что от неё пахнет мылом, и что от этого запаха мне не хочется переставать дышать.

Она задаёт читать вслух. Татарский текст — про лес, про зиму, про бабушку, которая печёт бэлеш. Я открываю рот. Я знаю, что сейчас будет «ш»: в татарском его много — «шәмэхә»,

«шәһәр», «шәфәкъ». Я готовлюсь к позору. Дохожу до «ш». Застреваю.

«Ш-ш-ш...»

Класс поворачивается. Класс готов засмеяться. Класс уже начинает.

И Венера Гаязовна говорит:

— Подожди.

Класс замирает. Она не сказала «садись». Не сказала

«молодец». Она сказала «подожди» — как будто я не заикаюсь, а думаю. Как будто «ш» — это не дефект, а пауза, и во мне есть что-то, чего нужно подождать.

— Доченька, — говорит она. — Прочитай, когда будешь готова.

«Доченька». Мама называет меня доченькой, но у мамы это формула. У Венеры Гаязовны — обращение. Ко мне. К той, что во мне молчит.

Я смотрю на неё, она на меня. Между нами тишина — не моя тяжёлая, а лёгкая. Та, в которой можно. В которой не торопят. В которой «ш» — это не заикание, а шорох. Шорох будущего. Я дочитываю. Не сразу, через минуту: «Шәһәр». Город. «Ш» выходит — не гладко, не как у других, но выходит. Класс не смеётся. Класс забыл, что хотел смеяться. Класс слушает.

Это первая трещина в мире «лучших друзей». До неё все взрослые в моей жизни знали, что со мной, и никто не ждал: все торопили — «дыши», «говори», «забуди», «подождём». Венера Гаязовна — первая, кто не торопит. Кто доверяет моему времени, а не своему.

Я выхожу из класса с ощущением, которого не могу назвать. Назову его много позже, в тридцать три, когда в одном казённом кабинете чужой человек неожиданно вернёт мне веру

в то, что меня могут слышать. Тогда я задним числом пойму, что то же самое почувствовала в девять. Что меня слышали. Что кто-то слышал моё «ш» — не как дефект, а как звук. Что кто-то подождал.

Татарский — мой второй язык. На нём я думаю, когда не могу думать на русском. Это странно: я русская татарка, татарский у

меня не родной, а выученный. Но выученный так, что в нём я могу то, чего не могу в русском. В русском я заикаюсь. В татарском — нет. Не потому, что татарский легче, а потому, что татарский — язык тела, а не речи.

В татарском «ш» — это «шәүлә» (тень), «шәмэхә» (фиолетовый), «шәфәкъ» (заря), «шатлык» (радость), «шагыйрь» (поэт). Когда я говорю эти слова, я не думаю о букве — я думаю о том, что за ней. Тень. Фиолетовый. Заря. Радость. Поэт. Буква

— это не звук, это дверь. В татарском я открываю двери. В русском застреваю в них.

Я думаю на татарском, когда мне плохо. Когда отец пьёт. Когда мама плачет в ванной. Когда бабушка Танзиля говорит, что я «не та». Когда дед молчит громче всех. Я закрываю глаза и думаю: «Шәүлә. Тень. Я тень. Я та, что стоит за чужими словами, и её не видно, и она не заикается». Потом, когда на меня будут давить, когда будут допрашивать, когда мне будут говорить, кто я, — я снова буду уходить в татарский. Он мой внутренний язык, на котором я говорю с собой, когда с собой нельзя на русском, потому что русский слишком громкий, слишком официальный, слишком «лучшие друзья». Татарский

— тихий. Татарский — это шорох. Это началось с Венеры Гаязовны. С её мыла. С её «доченьки», которое было обращением, а не формулой.

Мне девять. Венера Гаязовна вызывает маму в школу. Мама идёт — она всегда идёт, когда зовут, это её форма послушания миру. Я сижу дома и жду. Я не знаю, о чём они будут говорить,

знаю только, что обо мне. Я не дышу.

Мама возвращается. Лицо странное — не злое, не радостное, непонятное. Садится на кухне, наливает чай, молчит. Потом:

— Венера Гаязовна говорит, что ты одарённая. Что ты думаешь на татарском лучше, чем говоришь на русском. Что у тебя в голове что-то есть, что не выходит через рот. Что тебя надо отправить в лагерь для одарённых. Две недели. Летом.

Я молчу.

— Она сказала, там тебя слышат.

«Услышат». Я слышу это слово, и во мне что-то сдвигается. Не «вылечат». Не «исправят». Не «научат говорить». Услышат

— как будто во мне есть что-то, что можно услышать; как будто моё «ш» — это не дефект, а речь.

— Я согласна, — говорит мама. — Поедешь.

Я не соглашаюсь — мама соглашается за меня. Это нормально, мне девять, дети не решают. Но я замечаю: в этот раз мама не говорит «поживём — увидим». В этот раз —

«поедешь». В этот раз она не откладывает, не молчит. В этот раз она решает — и решает так, как раньше не решала.

Я потом пойму — так я думаю в тридцать три, — что мама согласилась, потому что прозвучало слово «одарённая». Что для мамы «одарённая» — это форма недвижимости, то, что можно оформить, инвестиция, как доля в квартире. Что она согласилась не потому, что

меня услышат, а потому, что меня оценят. И тут же ловлю себя: я всегда читаю мать с худшей стороны. Так

привычнее, так безопаснее — если заранее ждать расчёта, расчёт не застанет врасплох. Может быть, в тот раз она просто обрадовалась за меня. Может быть, «поедешь» было не расчётом, а надеждой. Я не знаю. Я давно не умею отличать материнский расчёт от материнской любви — может быть, потому, что в моей жизни они слишком часто звучали одним голосом.

Но в девять я этого не знаю. В девять я просто слышу

«поедешь». И внутри меня — впервые — не «ш». Внутри меня тихое «да». Тихое, потому что вслух я ещё не умею. Но я уже думаю его. На татарском. «Әйе». Да.

Это первое решение в моей жизни, которое я принимаю собой

— не матерью, не отцом. Не потому, что меня спросили (меня не спросили), а потому, что кто-то впервые увидел во мне одарённость, а не диагноз. Кто-то впервые сказал: «там тебя услышат». Кто-то впервые назвал моё молчание не поражением, а формой.

Я еду через неделю. Я не знаю, что там будет. Я знаю, чего там не будет: «лучших друзей», отцовых шагов, жёлтого листа в коробке из-под обуви. Что будет — не знаю. Но я еду.

Я стою у окна в двушке. Мне девять. За окном тот же город, те же вышки, тот же горизонт.

Стены не сменились. Воздух не сменился. Но тишина в голове — изменилась. Она не пустая, она наполненная. В ней

«ш» — не застрявшее, а шуршащее. Шорох бумаги. Шорох

будущего романа, которого ещё нет, но который уже есть — в этой тишине, в этом «ш», которое я научилась не выталкивать, а слушать.

Я впервые понимаю: молчание — не поражение. Молчание — форма. Что мой голос уже есть — не произнесённый, но есть. Что «ш» — это не заикание, а начало. Что если молчать достаточно долго, молчание станет романом; что если шуршать достаточно тихо, шорох станет слышен. Что Венера Гаязовна была права: меня услышат. Не сегодня. Через много лет. Когда я сяду писать.

Но это всё потом. А сейчас мне девять. И я стою у окна. И я слышу — наконец слышу — своё собственное «ш».

Оно шуршит.

Глава 4. Канат

Записи.

— *Зухра, моя вожатая*

Лагерь стоит на окраине города, в лесу, среди сосен. Сосновый запах — первый запах в моей жизни, который не спирт и не пыль. Он лёгкий, сухой, как будто воздух выстирали и повесили сушиться на ветру. Я выхожу из автобуса, иду по грунтовой дороге, и с каждым шагом во мне что-то распрямляется. Не сразу. По капле. Как занавеску, которую долго держали задёрнутой и наконец отпустили: она колыхнется

— медленно, нерешительно, но колыхнется.

На воротах — слово. «Канат». Мама произносила его дома, и я тогда слышала по-русски: канат, толстая верёвка, натянутая между двумя столбами, по которой ходят в цирке. Я представляла, как буду балансировать, как буду бояться упасть, как буду держать равновесие из последних сил. Я ехала к канату. А на воротах — то же слово, но я наконец слышу его по-татарски. Канат — это крыло. Лагерь не про равновесие. Лагерь про то, чего у меня нет, но, говорят, может вырасти.

Мне пятнадцать. Здесь — одарённые. Я не чувствую себя одарённой. Я чувствую себя заикающейся девочкой из двушки рядом с бабушкой Танзилей, у которой в печени живёт жилец, о котором молчат, под матрасом — тетрадка с одной записью, а в голове — «ш», которое не выходит. Но кто-то сказал

«одарённая», и меня пустили. И я здесь. И сосны. И воздух. И впервые никто не знает, кто я. Здесь я — никто. И это впервые освобождает.

Нас сорок. Со всего края. Кто-то пишет стихи, кто-то решает олимпиадные задачи, кто-то играет на скрипке, кто-то — как я

— думает на татарском быстрее, чем говорит на русском. Нас объединяет одно: нас выбрали. Не «лучшие друзья» выбрали, не родители, не школа. Кто-то в каком-то кабинете, по каким-то критериям, которых я не знаю. Нас выбрали за то, что в нас есть что-то, чего не видно. За то, что мы ш-ш-шим. За то, что мы — те, кого другие не слышат.

Первая ночь. Домик на восемь девочек. Кровати, одеяла, тумбочки. Тишина — не моя тяжёлая, а другая, лёгкая, в которой можно спать. Я ложусь и впервые за пятнадцать лет не прислушиваюсь к шагам. Здесь нет отцовых шагов — тяжёлых, неровных, с задержкой на марше. Нет маминых — лёгких, быстрых, ровных, как метроном. Есть шаги — мои собственные, и шаги семерых девочек, что спят рядом, и все эти шаги лёгкие, ровные, без задержки. Никто не решает на лестнице, входить ли. Все уже вошли. Все уже дома.

Я не перестаю дышать. Я дышу. Дышу так громко, что боюсь разбудить соседку — Айгуль, ей шестнадцать, она пишет стихи про море, которого не видела. Я дышу так, как будто раньше не дышала. Может быть, так и было. Может быть, все эти годы я не дышала — я выжидала. А здесь наконец выдохнула.

Дни здесь — не школьные дни. Тут не ставят оценок. Тут задают вопросы. «О чём ты думаешь?» — спрашивает вожатая. Зухра, ей двадцать пять, она учится в большом городе, пишет работу про татарские народные сказки. Носит длинные юбки и пахнет не мылом, как Венера Гаязовна, а чем-то цветочным — лавандой, может быть. Я не знаю, что такое лаванда. Я знаю спирт и пыль. Но от Зухры пахнет лавандой, и от этого запаха мне хочется говорить.

Я молчу. Она ждёт. Не торопит. Как Венера Гаязовна. Как будто все эти люди знают что-то, чего не знают мои родители: что моё время — моё, а не их. Что «подожди» — не отказ, а уважение. Что «когда будешь готова» — не отговорка, а доверие.

Я отвечаю. Не сразу, через минуту: «О букве ш-ш-ш». Зухра кивает: «Расскажи». И я рассказываю — впервые в жизни — что

«ш» это не заикание, а шорох. Что во мне есть что-то, что шуршит. Что я не знаю, что это, но оно есть. Что когда я молчу, оно растёт, а когда говорю — застревает. Что я где-то между молчанием и речью, и в этом «между» — я.

Зухра слушает. Не перебивает. Не говорит «дыши», «забуди» или «поживём — увидим». Она говорит: «Запиши».

«Запиши» — первое слово в моей жизни, которое обещает, а не отнимает. Запиши — значит, твоё «ш» имеет значение. Запиши — значит, оно может стать текстом. Запиши — значит, ты не дефект, а автор. Я не знаю слова «автор». Я знаю

«доченька», «одарённая», «заикающаяся», «лучшие друзья».

«Автор» я слышу впервые — и не как понятие, а как обращение.

Я записываю. В тетрадку, которую мне выдают, — тонкую, в клетку, с крылом на обложке. Первая запись: «У меня на лестничной клетке есть ш-ш-ш». Я не знаю, что это значит. Знаю только, что это начало. Что-то началось — что-то, чему я пока не знаю названия, но что много позже назову романом. Я ещё не знаю и другого: что однажды маленький человек, которого у меня пока нет, расскажет мне про свою лестничную клетку — про свой тайник, свой ш-ш-ш под другим именем, — и я узнаю этот звук с первого слога, потому что он будет мой.

Здесь я впервые читаю вслух. Не в классе, не под смех, не под коричневую помаду учительницы. Вечером, у костра. Зухра говорит: «Кто хочет — прочитайте своё». Я хочу. Беру тетрадку. Открываю. Читаю:

«У меня на лестничной клетке есть ш-ш-ш».

Я не заикаюсь. «Ш» выходит — не гладко, не как у других, но выходит. Как шорох. Как шорох сосен над головой. Как шорох будущего, которого ещё нет, но которое уже есть — в этом костре, в этих лицах, что слушают.

Никто не смеётся. Все слушают. Когда я заканчиваю — тишина. Не моя тяжёлая, а лёгкая. Потом тихие, неловкие аплодисменты — как будто все разом поняли что-то, чего не знали, и не знают, как на это реагировать. Я сажусь. Щёки горят. Но это не стыд. Впервые — не стыд. Это тепло. Это, может быть, то, что Зухра называет «быть услышанной».

Я пишу это в тридцать три и впервые позволяю себе усомниться: а было ли так? Не придумала ли я «Канат» задним числом — слишком ровный воздух, слишком тёплый костёр, слишком вовремя сказанное слово? Человеку нужно одно место, которое его не предало; может, я и сделала «Канат» этим местом, потому что без него не из чего строить. Не знаю. Но даже если я кое-что досочинила — сосны были настоящие. И тетрадка осталась. А досочинить можно только то, у чего есть корень.

Через две недели я возвращаюсь. Автобус. Город. Двушка. Запах спирта и пыли — как будто и не уезжала. Как будто

«Канат» был сном, от которого меня разбудил автобус, и я снова в своей кровати, и снова слышу шаги.

Отцовы шаги на лестнице — тяжёлые, неровные, с задержкой.

Я перестаю дышать.

Всё возвращается. Как будто «Канат» был кредитом, который теперь нужно отдавать — с процентами, с запахом, с шагами, с

«лучшими друзьями», с гепатитом, о котором молчат, с бабушкой Танзилай, которая не одобряет, с дедом Абдулламиром, который молчит громче всех. Всё возвращается, как будто меня и не было.

Но во мне остаётся тетрадка. Тонкая, в клетку, с крылом на обложке, с первой записью. Я прячу её — под матрас, потом в коробку из-под обуви, рядом с жёлтым листом. Два документа о

ненадёжности. Только жёлтый лист про тело, а тетрадка про голос. Оба про то, что во мне есть и чего не видят. Оба — жильцы, о которых молчат. Я буду возить эту тетрадку с собой годами, из города в город; буду думать, что потеряла, и находить в кармане куртки, которую не надевала несколько зим. Это мой первый документ о том, что я не жертва. Что во мне есть шорох, который однажды станет романом.

Но это всё потом. А пока мне пятнадцать. И я вернулась. И я не дышу. И отцовы шаги на лестнице. И мама на кухне. И

«лучшие друзья». И всё, как было.

Только во мне — впервые — есть тетрадка. И шорох. И знание, что где-то есть сосны, и воздух, и Зухра, сказавшая

«запиши». Что где-то есть место, где я дышу. Где я — я.

Оно далеко. Но оно есть. И теперь я это знаю. И никто — ни отец, ни мать, ни бабушка, ни дед, ни «лучшие друзья» — не сможет это отнять. Потому что это моё. Не оформленное. Не доля. Не «твоя» в мамином смысле. Моё — в моём. Впервые в жизни.

Глава 5. Ирек

При невыясненных обстоятельствах.

— формула, которой закрыли его гибель

Мы познакомились в городе, где я выросла, на свадьбе общих знакомых — даже не наших, а наших родителей, чьи-то двадцатилетние дети случайно оказались за одним столом, потому что молодёжь усадили отдельно от старших. Мне восемнадцать, ему двадцать. Он сидел напротив, ел плов неаккуратно, ронял рис на скатерть и не стеснялся этого — первое, что я заметила: человек, который не боится быть неловким на людях. Я выросла в доме, где неловкость карается, где каждое пятно на скатерти — повод для материнского взгляда. А он просто смеялся, когда рис падал, и продолжал говорить.

Он не из нефтяной семьи — из торговой: отец держал магазин, мать преподавала историю в школе. Ирек учился на архитектора в другом городе, приезжал на каникулы и в выходные, и в городе, где я выросла, бывал реже, чем хотелось бы. Он рисовал — на салфетках, на полях тетрадей, где придётся: дома, мосты, фонтаны, которых в нашем городе нет, но которые, говорил он, обязательно построят, когда он закончит. «Вот здесь, — показывал он на салфетке, — будет набережная. С фонарями вот такой формы». Я верила. Я верила всему, что он говорил, потому что он говорил так, будто верил сам. Это первое в моей жизни — человек, который верит в то, что говорит, и от этой веры в воздухе вокруг него становится

светлее, как будто он носит с собой невидимое окно.

У него глаза, которые смотрят не сквозь, как у папы, а на. Он видит меня. Не «доченьку», не «одарённую», не

«заикающуюся». Меня. Я привыкла быть стеклом, через которое смотрят на окно за моей спиной. Ирек смотрит так, будто я не стекло, а картина — та, что стоит того, чтобы её рассматривать долго, возвращаясь к ней снова и снова, находя что-то новое при каждом взгляде.

Мы встречаемся пять лет. Он не торопит. Не ставит ультиматумов. Он говорит: «Когда будешь готова — скажешь». Как Венера Гаязовна. Как Зухра. Как будто и он знает, что моё время — моё, а не его.

Однажды, на третьем году, мы стоим на мосту через речку, которая делит наш город на старую и новую части, и он говорит:

«Я хочу тебя поцеловать. Но если ты не хочешь — скажи, и я не буду спрашивать снова сегодня». Я молчу — не от смущения, а от удивления: впервые в жизни мне дают право сказать «нет» без последствий, без того, чтобы потом это «нет» обернулось виной, обидой, давлением. Я киваю. Он целует — осторожно, будто боится, что я передумаю на середине. Я не передумываю.

Я не знаю, откуда это в нём — терпение, которое не выглядит терпением, потому что не требует благодарности. Может, у него тоже был кто-то, кто не торопил. А может, он просто другой — не как папа, не как мама, не как «лучшие друзья». Он первый человек, рядом с которым я дышу ровно. Не задерживая. Не

выжидая. Просто дышу.

Он делает предложение зимой, на катке, который заливают каждый год во дворе соседней школы. Не на одном колене — мы оба на коньках, и он чуть не падает, протягивая кольцо, и мы оба смеёмся, и я говорю «да» прежде, чем успеваю обдумать вопрос, потому что обдумывать здесь нечего: это первое решение в моей жизни, в котором нет страха, только нетерпение

— хочется, чтобы будущее началось прямо сейчас.

Мы планируем свадьбу — на лето. Я впервые планирую что-то для себя. Не долю, не ипотеку, не оформление — свадьбу. Белое платье — мы выбираем его вместе, что не принято, но Ирек говорит: «Я хочу видеть, как ты его выбираешь, а не только как ты в нём стоишь». Танец — мы учим его по видео, спотыкаясь, наступая друг другу на ноги, в съёмном зале, который пахнет пылью и канифолью. Я ещё не знаю, что свадьба — это тоже ритуал, который должен защищать. Я думаю, что свадьба — это счастье. Мне двадцать три. Я ещё верю в счастье как в событие, а не как в климат. Я ещё не знаю, что счастье — не то, что случается, а то, чем дышишь. Я узнала это однажды, в сосновом лесу, на две недели. И забыла.

Среда. Март. Снег ещё не сошёл, но воздух уже пахнет водой — той особенной сырой свежестью, которая бывает перед самой каплей. Обычный день: я на работе, печатаю отчёт, думаю о

платье, которое нужно забрать из ателье в субботу. В обед я звоню ему — он не берёт. Звоню ещё — не берёт. Я не тревожусь сразу: у него могла кончиться зарядка, могла быть лекция, могло быть что угодно обычное. Звоню его матери, чтобы спросить, не знает ли она, где он, — и слышу, что она плачет. Говорит: «Его нет». Я не понимаю. «Где нет?» Она молчит. Потом: «В морге».

Я не помню, как положила трубку. Помню, как села на пол — на кухне, на кафель, который мама протирала дважды в день. Помню, что кафель был холодный — настолько холодный, что я почувствовала его сквозь джинсы, и эта мелкая физическая деталь почему-то застряла во мне крепче, чем сами слова «в морге». Помню, что не плакала. Помню, что перестала дышать — по привычке, как в детстве, когда слышала отцовы шаги. Только теперь шагов не было. Была тишина. Тишина, которая тяжелее любых шагов.

Похороны — через четыре дня, по мусульманскому обряду, быстро, как положено. Я стою у могилы в чужом, наспех купленном тёмном платке, который колет и пахнет магазином. Мать Ирека держит меня за руку — крепче, чем я держу её, как будто это она меня поддерживает, а не наоборот, хотя горе должно бы быть общим, поделённым пополам. Отец молчит — отец Ирека, не мой; впервые я вижу мужское молчание, которое не пугает, а просто молчит, без задержки на марше, без угрозы за ним.

Я не плачу и на похоронах. Люди смотрят на меня странно — невеста, которая не плачет, выглядит подозрительно даже на собственном горе. Я хочу плакать. Не получается. Слезы — где-то там, за стеклом, которым я всегда была, через которое смотрят на что-то другое, а не на то, что внутри.

Потом — дни, которых я почти не помню. Мама говорит, что я не ела, сидела в своей комнате, смотрела в стену, не говорила, снова замкнулась. Только теперь не от стыда, как в школе с буквой «ш», а от чего-то, чему нет названия. «Горе» — слишком маленькое слово. «Боль» — слишком телесное. «Шок» — слишком медицинское. Как будто из меня вынули не орган, а ось. И теперь я колесо, которое крутится, но не едет.

Мама заходит, садится на кровать, молчит. Потом говорит:

«Доченька, мы лучшие друзья. Ты мне расскажешь». Я не рассказываю. Не потому что не хочу, а потому что рассказывать нечего. Ирек погиб. При невыясненных обстоятельствах. Эти два слова — всё, что у меня есть. Остальное — тишина.

Через неделю родители решают, что мне нужно «отвлечься». Ведут меня к народной целительнице — кто-то на работе у мамы посоветовал, сказал, что помогла соседке после развода, помогла кому-то ещё после инфаркта мужа. Я не хочу — у меня нет оси, на которой держится хотение, — но иду. Потому что родители решили. Потому что «лучшие друзья».

Целительница — старая женщина в платке, с иконами на стенах вперемешку с какими-то другими, неизвестными

символами, и запахом ладана, который смешивается с запахом старого деревянного дома и кошачьей шерсти. Горят свечи — много, расставленные по всей комнате, отчего воздух тяжёлый, тёплый и слегка дымный. На стене — фотографии тех, кого она

«вылечила»: пожелтевшие снимки людей, которые улыбаются в объектив, не зная, что станут доказательством чужой силы.

«Доченька, я тебе помогу». Она что-то шепчет, водит руками над моей головой, над грудью — руки у неё сухие, тёплые, с очень длинными ногтями, которые слегка царапают воздух, когда она делает свои пассы. Я ничего не чувствую. Меня здесь нет. Я всё ещё в море, которого не видела, но который знаю — мысленно я там, у того стола, о котором мне никто не рассказал ни одной подробности, и моё воображение заполняет эту пустоту хуже всякой реальности.

Через несколько дней мне хуже. Целительница не помогла. Мама злится — на целительницу, не на себя: «Она нас обманула. Надо подать заявление в полицию». Я не хочу подавать. Я не понимаю, за что. Целительница не обманула — она просто не помогла. Это разные вещи. Но мама настаивает, и в её настойчивости есть что-то, чему я тогда не нахожу слов: ей нужно, чтобы было кого винить, и целительница — самая доступная фигура для вины, потому что обвинить горе или случайность невозможно, а вот женщину с иконами и свечами

— можно, у неё есть адрес, телефон, имя. Папа молчит — его молчание это его голос, когда он молчит, всё остаётся как есть.

Я подаю заявление. Под давлением. Как в детстве, когда родители решали не лечить. Иду в отделение, сижу в очереди среди людей с другими, настоящими бедами, и пишу то, что мне говорят писать, корявым почерком, потому что руки не слушаются. Я подписываю бумагу против женщины, которая не виновата, — и не понимаю зачем. Зачем нужно заявление против целительницы сразу после гибели Ирека? Что родители прячут за этой бумагой? Что я прячу от себя? Я не знаю. Мне двадцать три, у меня нет оси, и я подписываю то, чего не понимаю, против той, кто ни при чём.

Эта бумага — мой второй документ о ненадёжности. Первый, жёлтый лист, был про тело. Этот — про голос: я подписала против того, во что не верю, чтобы защитить то, чего не знаю. Я предала свой голос — первый раз. Потом я предаю его ещё не раз; и каждый раз буду узнавать этот вкус — вкус подписи под тем, чего не выбирала. Но первая подпись — здесь.

Ирек — первая тень в этой книге. Не потому, что я знаю, что его убили. А потому, что с его смерти во мне поселилась тень — мысль, которая возвращается и которой я не доверяю.

Мысль такая: его смерть не была случайной. Что кто-то его убрал, потому что он мешал — кому, чем, я не знаю даже в этой версии, она не доходит до подробностей, потому что подробностей нет, есть только сама форма подозрения, голая, без содержания. Я пишу это и тут же должна сказать прямо, иначе всё дальнейшее — ложь: у меня нет ни одного доказательства. Ни одного. Заключение было — «невыясненные обстоятельства», и это всё, что известно кому бы то ни было, включая меня. Мысль об убийстве приходит не оттуда, где факты. Она приходит оттуда, где горе, — и я давно научилась

распознавать в себе эту механику: когда хаос невыносим, ум назначает ему автора, потому что мир с виновником страшнее, но переносимее, чем мир без причин. Виновник — это хотя бы структура. Случайность — это бездна без стен.

Я подозреваю — и знаю, что подозреваю не так, как знают, а так, как болеют. Я подозреваю отца, который молчал. Мать, которая торопила с заявлением. Его семью, которая сказала «не спрашивай». Я подозреваю себя — потому что выжила, потому что в тот вечер не дозвонилась раньше, потому что, может быть, если бы дозвонилась — что? Я не заканчиваю эту мысль даже сейчас, потому что у неё нет логического конца, только бесконечное, не под-

креплённое ничем чувство вины выжившей. Подозрение, которое цепляется ко всем сразу и не задерживается ни на ком, — это не знание. Это симптом. Я это понимаю. И всё равно не могу его выключить.

Позже у моей подозрительности появится лицо — конкретное, с именем. И я даже сейчас не уверена, что это лицо виновно. Я уверена только, что мне было нужно лицо. Что человеку, у которого отняли ось, нужно во что-то упереться, и если не во что — он упрётся в первого, кто окажется рядом в тот момент, когда станет совсем нечем дышать. Я думаю об этом снова и снова, годами позже, и каждый раз прихожу к одному и тому же неудобному месту: возможно, я всю жизнь искала виновных там, где их не было, потому что мир без виновных слишком пуст, слишком безразличен, слишком похож на ту бездну без стен, в которую я не хочу падать.

Мёртвого не допросишь. Это и есть самое невыносимое: не то, что я не знаю, кто, а то, что узнать нельзя, а перестать спрашивать — тоже. «Не спрашивай», «забуди», «поживём — увидим» — три формулы моей семьи, три замка на одной двери. За дверью — то, что случилось той весной. Я не открываю. Я не умею открывать. Мне двадцать три, и я умею только не дышать и не спрашивать.

И я не спрашиваю двадцать лет. Я спрошу впервые лишь в тридцать три, на допросе, когда чужой человек задаст ровный вопрос про мою жизнь до брака, — и я вспомню Ирека, и впервые спрошу не его, а себя: что случилось той весной? И не отвечу. Потому что не знаю. Потому что «невыясненные обстоятельства» — это не факт, а форма молчания. Такая же, как

«у тебя ничего нет, забудь». Как все формулы, которыми меня учили не жить, а пережить.

Это началось здесь. Со среды. Со звонка. С тишины. Я перестаю дышать.

Глава 6. Гормон

Тебе нужно похудеть.

— мама, вместо «что с тобой»

Кабинет гинеколога — не кабинет педиатра. Здесь пахнет не карболкой, а чем-то медицински-женским, чему я не умею подобрать слова: смесь антисептика, чего-то цветочного из освежителя воздуха и латекса перчаток. В коридоре, в очереди, сидят женщины разных возрастов — кто-то с животом, кто-то без, кто-то листает телефон, кто-то смотрит в одну точку, как я. Никто не разговаривает. Это молчание другое, чем домашнее: не вынужденное, а уважительное — каждая здесь со своим, и никто не лезет в чужое.

Холодное кресло. Лампа, которая светит в лицо. Стерильные инструменты на металлическом столике, разложенные в строгом порядке, как хирургические ноты. Врач — женщина средних лет, с усталыми глазами, она смотрит на меня так, будто видела тысячи таких, как я, и в этом взгляде нет ни тепла, ни холода — просто констатация. Я для неё не «доченька», не «одарённая», не «заикающаяся». Я — пациентка. Впервые в жизни меня видят как функцию, а не как роль. Странное облегчение.

— Гормональный сбой, — говорит она, листая результаты анализов. — Нужно обследоваться. Нужно лечить. Нужно время.

Я знаю формулу «нужно время» — это вариант «поживём — увидим». Только от врача она звучит иначе. От мамы — как

отказ: подождём, потому что не хотим делать. От врача — как план: подождём, потому что делать надо постепенно, потому что эндокринная система не перестраивается за один день, какие бы таблетки ни принимать. Разница в том, кто делает. У мамы делает никто. У врача делаю я.

— Сколько времени? — спрашиваю я.

— Несколько месяцев. Может, полгода. Зависит от вас.

«Зависит от вас». Первая фраза в моей жизни, которая говорит, что от меня что-то зависит. Что я не свидетель, не получатель, не алиби. Что я — субъект. Что моё тело — моё, и его лечение — моё дело. Я не знаю, что с этим делать. Я привыкла, что моё тело — поле чужих решений: им решают, на него оформляют, его не лечат, ему — «похудей». Я выхожу из кабинета с направлением, с планом и с этой фразой в голове. Она тяжелее любого диагноза. Диагноз — это жилец, о котором можно молчать. «Зависит от вас» — это ответственность, о которой молчать нельзя.

Я набираю вес. За полгода тело, которое я знала, — то, что было с Иреком, в сосновом лесу, с тетрадкой под матрасом, — уходит. На его место приходит другое: медленное, чужое, тяжёлое в движениях, непривычное по утрам, когда встаёшь с кровати и не сразу узнаёшь собственный силуэт в темноте комнаты. Я смотрю в зеркало и не узнаю. Не потому что вес сам по себе страшен — а потому что это лицо, эта фигура принадлежат не мне, а какому-то промежуточному, временному

человеку, в которого меня превратила химия без моего согласия.

Одежда — та, что носила с Иреком, — больше не налезает. Однажды вечером мама приходит в мою комнату с большим клетчатым пакетом и начинает методично, по одной вещи, складывать туда платья, юбки, блузки — всё, что мне когда-то нравилось носить. «Похудеешь — будешь носить». Она делает это аккуратно, складывает каждую вещь, как будто упаковывает реликвию для музея, который однажды откроется снова. Она не выбрасывает. Она хранит — как форму, в которую я обязана вернуться. Я сижу на кровати и смотрю, как исчезает в пакете

синее платье, в котором Ирек однажды сказал, что я похожа на море — и тут же спохватился, что глупо сравнивать человека с морем, и мы оба смеялись над этой неловкой метафорой целый вечер. Мама не знает этой истории. Мама просто складывает платья. Как будущее, которое уже за меня расписано: похудеть, вернуться в платья, найти мужа (Ирек погиб, но муж нужен, потому что «лучшие друзья»), родить, оформить.

Мама не замечает. Точнее, замечает — но не вес, а то, что он значит:

— Ты поправилась. Это некрасиво. Тебе нужно похудеть.

Не «тебе нужно лечиться». Не «тебе нужно к врачу». Не «что с тобой». «Тебе нужно похудеть» — как будто вес это эстетическая проблема. Как будто тело — это то, что видят другие, а не то, чем живёшь ты. Мама смотрит на моё тело так же, как на долю в квартире: как на то, что нужно привести в

порядок, чтобы хорошо смотрелось, чтобы другие видели — дочь нормальная, дочь не толстая, дочь скоро замуж.

На работе тоже замечают — не вслух, а взглядами: коллега, с которой раньше болтали о пустяках, теперь говорит чуть медленнее, будто щадя меня; начальница один раз обронила, что мне «нужно отдохнуть, выглядишь устало» — слово «устало» явно подбиралось, чтобы не сказать «толсто». Я слышу за каждой вежливой фразой невысказанное наблюдение, и оно ранит больше, чем прямота мамы, потому что прямота хотя бы честная.

Я не худею. Не могу. Гормон не худеет — гормон это химия, а химия сильнее воли. Я пробую — недолго, без особого толка

— что-то менять в еде, в режиме, но без врачебного плана это бессмысленные попытки, которые только добавляют чувство вины к уже существующей усталости. Но мама не понимает химии. Мама понимает формулы: «похудей», «будь красивой»,

«найди мужа». Все они про то, как я выгляжу, а не про то, как я живу. Про то, как меня видят, а не про то, что вижу я.

В тридцать три, когда я пишу это, мне хочется сказать красиво: гормон — это не химия, гормон — это метафора. Что тело забастовало. Что Ирек погиб — тело забастовало; родители решили не лечить — забастовало; я подписала против целительницы — забастовало; что оно копило каждое предательство, своё и чужое, и в конце концов выдало реакцию

— вес, килограммы, как годы невысказанного, прорвавшиеся через единственный доступный канал.

И тут же останавливаюсь. Я слышу, как это удобно. Если тело бастовало за меня — значит, я не просто болела, я сопротивлялась; значит, у меня есть ось, есть смысл, есть сюжет. Но, может, я просто болела. Может, прибавленные килограммы

— это просто прибавленные килограммы, медицинский факт без метафорического подтекста, а не символ чего бы то ни было. Я не доверяю красивым объяснениям своей жизни — особенно собственным. Я слишком часто видела, как красивое объяснение заменяет правду, которую неудобно знать. Может быть, мне просто нужно было разрешить себе болеть без вины, без необходимости превращать болезнь в акт протеста, чтобы она хоть что-то значила.

И всё же одно я знаю без метафор: это тело было моё. Не оформленное, не «приведённое в порядок», не выставленное на чужой взгляд — моё, впервые. Даже толстое, даже чужое в зеркале — моё. И когда-нибудь, измождённое, оно скажет за меня то, что я не смогу сказать вслух, — не метафорой, а температурой, давлением, онемением рук и ног. Тело окажется последним свидетелем, который не предаёт. Но это будет потом.

Я стою у окна в двушке. Мне двадцать три. За окном тот же город, те же вышки, тот же горизонт.

В семь я поняла, что менять стены — не значит менять жизнь. В девять — что молчание это форма. Теперь, под маминым

«похудей», во мне впервые шевелится ещё одна мысль, которую я пока не умею додумать: что тело мне не враг. Что оно на моей стороне — даже когда не слушается, особенно когда не слушается. Что вес — не недостаток, который надо исправить, а что-то вроде свидетельства, которое надо прочесть. Что если я научусь слушать тело, а не маму, я, может быть, выживу.

Я не научусь. Не сразу. Я выйду замуж, и мне будут говорить, что я «могу в любой момент поехать головой», и я буду верить

— потому что меня с детства учили, что моё тело не моё: что им решают, что его можно «поправить», «похудеть», отвезти куда надо и не забрать. Слушать тело я научусь поздно — когда оно уже будет на исходе, когда скорая станет приезжать чаще, чем гости, когда онемение станет нормой. Тогда я наконец пойму то, что сейчас только шевелится: тело — единственный свидетель, который остался со мной до конца.

Но это всё потом. А пока мне двадцать три. И Ирек погиб. И гормон. И вес. И мать, которая говорит «похудей». И отец, который молчит. И «лучшие друзья». И всё, как было.

Только во мне впервые есть что-то, что не формула. Что-то моё. Тело, которое не слушается. Голос, который шуршит. Тетрадка под матрасом. Знание, что где-то есть сосны.

Я не дышу. Но я — впервые — знаю, что дышать можно.

Глава 7. Никах без меня

Ты что наделала.

— мама, после разрыва помолвки

Айдар — не Ирек. Ирек был ось. Айдар — стул. Стул, на который меня посадили, потому что нужно сидеть. Айдар — сын маминых знакомых, работает в банке, в отделе, который занимается чем-то связанным с ипотеками — той самой темой, которая много лет позже будет занимать в моей жизни совсем другое, более тяжёлое место. «Хороший мальчик», говорят родители. «Хороший мальчик» — формула, которая значит: он не пьёт, как папа; он работает, как должен; он согласен — на меня. Это всё, что нужно. Это всё, что они видят.

Нас знакомят на семейном празднике — день рождения чьей-то тётки, на который меня и Айдара специально посадили рядом, хотя стол большой и мест достаточно. Он невысокий, аккуратный, в рубашке, застёгнутой на все пуговицы даже в жару. Говорит вежливо, спрашивает про работу, кивает в нужных местах. Ничего плохого. Совсем ничего плохого — и именно в этом «ничего плохого» уже есть что-то, что я тогда не умею назвать: отсутствие того тока, который был с Иреком, того ощущения, что воздух вокруг человека становится светлее. С Айдаром воздух остаётся прежним. Просто воздух.

Никах — татарская помолвка, религиозный обряд. Не свадьба

— но серьёзнее, чем «встречаемся». Никах — это обещание. Перед семьёй, перед муллой, перед Богом, в котором я не уверена, но в котором мама уверена за меня. Никах — первый шаг к свадьбе. Свадьба — последний шаг к оформлению. Все шаги — к оформлению.

Я соглашаюсь. Не потому что хочу. Потому что «пора». Ирек погиб два года назад — «пора». Мне двадцать четыре — «пора». Мама смотрит так, будто я ей должна, — «пора». «Пора» — это формула, которая значит: хватит ждать, хватит горевать, хватит быть собой. Пора быть как все.

Никах проходит скромно, в доме его родителей — мулла, несколько слов на арабском, которые я не понимаю и не пытаюсь понять, кольцо, чай с чак-чаком после. Я сижу в новом платье, которое мама выбрала сама, без меня, и улыбаюсь — той улыбкой, которая получается на автомате, когда внутри пусто, а снаружи нужно соответствовать моменту. Никто не замечает разницы между настоящей улыбкой и этой. Может, никто и не смотрит достаточно внимательно.

Айдар хороший. Он не давит, не торопит, не ставит ультиматумов. Он просто есть. Рядом. Как стул. На него можно сесть, на него можно опереться. Но на нём нельзя — как на Иреке — ехать. Стул не едет. Стул стоит. И я сижу.

Я пишу «стул» — и должна остановиться. Айдар не сделал мне ничего плохого. Он был живой человек, который хотел простого: жену, дом, чтобы «пора» состоялось. А я в своём рассказе превратила его в мебель — в функцию, в предмет, который «занимает место». То самое, что я ненавижу, когда так делают со мной: мама сделала меня алиби, Эмиль сделает меня диагнозом, следователь сделает меня подозреваемой. А я делаю Айдара стулом. Может быть, я несправедлива к нему даже

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.